



СВЯТОСЛАВ ЮГАЙ

Родился в 1999 году. Живет в городе Домодедово. По образованию инженер-нефтяник. Работает учителем математики. Член Московского областного союза писателей России. Ученик Дмитрия Воденникова.

ПОЛНЫЙ СОСУД
С УГЛЕМ

Я хочу вам сказать,
что экссудативный отит –
очень плохой гость.
Он так утомил мое среднее ухо,
что оно вчера решило
собрать слух в чемодан
и по нервам сбежать
на випассана.
Но все обошлось,
и оно не сбежало,
ведь у уха нет ног,
а главное,
нет чемодана.

Когда в ухе переливается жидкость,
вместе с ощущением страшной боли,
я в глухой тишине
слышу райские крики.
Будто младенец родился
и сразу же закричал,
чтобы наполнить свои легкие
болью.
На которой зацикливаюсь.
Беру бокал,
наливаю воды
пью,
наливаю воды,
пью,
не наливаю.
Уснул.

Во сне я оказываюсь посередине
между Марксом и Бродским.
Я в чемодане у среднего уха
лежу рядом с курткой Фернана Леже
и рядом с потерянным слухом.
Мой слух – диссидент,
мое правое ухо завербовало
его и мой редкий сон.

Меня превратили
в каменный уголь.
Теперь я катаюсь
по лицам кумиров,
на пару с запачканной курткой
Фернана Леже-Довлатова.

Нас приютил красный Дедушка,
который хотел стать прадедушкой,
но мы с курткой решить не смогли,
кто из нас будет ему рожать.
Я с чемодана свалил белой девушкой,
куртка осталась на мне,
только нет больше красного дедушки,
и слуха уже нет в стране.

* * *

Вчера осознал, что я сын-одиночка,
без отца и почти без матери.
Мать жива, у нее два сына от отчима,
и живут они в красном доме.
С ним меня ничего не свяжет,
кроме Олега с четвертого,
с которым буду пить водку
впервые в пятнадцать лет.

Про отца меня можно не спрашивать.
Когда он был с моей мамой,
я был еще крохотным эмбрионом.
А когда стал эмбрионом средних размеров,
он меня обнаружил и вышел
из этой нечестной игры,
благо я успел сохраниться.
И выжил.

(Я выжил потому, что бабуля и дедуля
настояли меня рожать.)

Вылез из мамы в рваной рубашке.
Красный и солнечный, с белыми волосами.
С рождения стал по отчеству сыном дедуле,
а по факту сыном бабуле.

* * *

Помню, ты стояла нарядная,
да и я был тоже нарядный.
Только ты, скорее, как новогодняя елка,
а я просто перебрал алкоголя.
Изображая стояние, искрометно пытался
что-то тебе донести,
но мой пьяный язык,
так уставший махать словами,
на никотиновых резцах
засыпал.

Ты меня понять тогда не сумела,
я глаголу лил в тебя на пролетарском.
И ты полилась,
как дождь или слезы,
буквально лилась ниже пояса,
так натурально изображая
живой ко мне интерес,
что и мой живой
к тебе интерес
ниже пояса
изобразился.

Ты сказала, что все случится,
когда выпадет первый снег.
Ты это сказала четырнадцатого октября,
и через полтора часа
четырнадцатого октября
выпал первый снег.
Небо всегда за меня.
Я овладел пятибуквенным именем.
(Уж простите меня за сексизм.)

Четыре года произвола и рабства,
четыре года владенья тобой.
Я твоим сладким именем
стал затыкать пустоту,
суя тебя в черные дыры
моих новорожденных писем,
в которых я откусил
от тебя самый мягкий знак.

Ева взяла из Эдема
(в память о райском саде)
этому миру явить
четырёхлистный клевер.
А я просто из Домодедово
(в память о том октябре)
этому миру являю
в стихах
четырёхбуквенную Дашу.

А мягкий знак, который я сожрал,
во мне переварился в твердый знак
моей фрейдистской немощной природы,
который, если верить в зодиак Стрельца,
мне больше, чем всем им, подходит.
Он, как цветок, встает на мне вопросом,
стремясь пробить своим стволом
все натяжные потолки,
которые одел не он, а я,
надел, дебил, без спроса.

Мой твердый знак
моей неведомой любви
рожден на свет,
чтобы познать твои пустоты.
И наконец, когда познаю
все твои изъяны изнутри,
я изыму тебя у матери твоей,
чтоб сделать тебя матерью
наших с тобой цветков.
Наш плод взойдет на свет,
как солнышко восходит на востоке,
ведь ты и есть восторг.

Он выразит все знаки языка
из синтаксиса немощных мычаний.
И в нем мы разглядим с тобою
от тебя откушенные знаки,
перекрещенные с моей
мужской судьбой.
Наш плод цветков взойдет на грудь твою,
как я мечтал взойти на глянцевые скалы,
чтобы в конвульсиях ломиться в цитадель
твоего любящего, ласкового сердца.
В котором бьются наши языки
неправильностью нашей детской речи.

В котором бьется пролетарская глагола,
ту, что я лил в тебя по пьяни в октябре.
Ребенок будет слышать все, что я глаголил
на своем пьяном вечном языке.

* * *

И вот шестнадцать лет смотрел на мир
из-за решетки, сделанной из перекрестных рифм.
Сквозь них прошло мое малюсенькое детство,
сквозь них, как водка в раковину утекала, утекла
моя случившаяся пропитая юность.
И вот теперь, теряя гравитацию,
в свободе форм моих написанных речей,
я сквозь решетку эту испаряюсь
и оседаю в памяти людей.

Которые меня оттуда изымают.
Кладут нагим под свой родной язык.
А я, не в силах отказать, бездумно соглашаюсь,
чтобы родиться вновь
внутри чужой прокуренной исповедали
в виде настоящего себя.

Однако я жалею рот, порвать боясь,
ныряю в шелковую глотку на гортань.
Хочу на всякий случай своровать
красивый незнакомый голосок.
Оттуда в легкие, на встречу с никотином:
давно не виделись с родимой кислотой.
Заполнился,
и так прикольно.

И выхожу на свет в двадцать четыре года,
немного лишь, но овладев своим шершавым языком.
Я достаю из кожаного чемодана
восемь ослепительных каштанов,
которые я собираюсь полюбить,
кладя в те самые огромные штаны.
Чтоб в них прожить свою, ступающую в жизнь,
мудрую и сдержанную зрелость,
которая мне будет помогать
каштанами заполнить до краев
глубокие бездонные карманы.
И я вам их попозже покажу.

* * *

У красивых детей вместо рук – лебединые крылья.
И мы крыльями машем, пытаюсь взлететь повыше,
но нам, к сожалению, никто не вышил
аэродинамических рукавов с автопилотом.
Чуть только стопа лишена ошущенья Земли,
лишь немного приблизившись к кольцам Сатурна,
мы забываем, как близко
становимся к солнцу,
и близкое солнце нас обжигает нещадно.

Мы теряем баланс в поцелуе со светом,
мы теряем момент, становясь бесхозным пространством,
мы превращаемся в груз из костей и крови,
ведь сгорели дотла наши врожденные перья.
Мы стопами вгрызаемся в рыхлую землю,
мы целуем остаток птичьей мечты,
и с пыльцой на губах не упавших на Землю комет
мы, как усопшего в лоб на прощанье,
целуем сиреневый прах
наших обугленных крыльев.